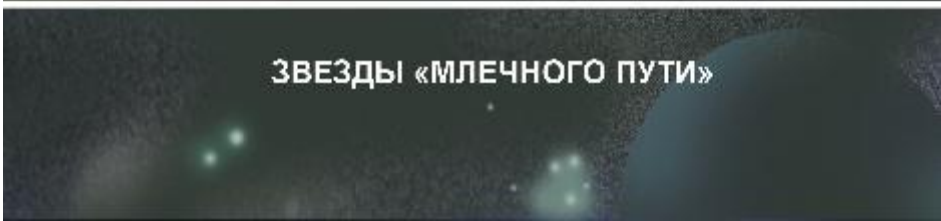




ЗВЕЗДОЛЕТ, ОТКРЫТЫЙ ВСЕМ ВЕТРАМ

**МОЛОДЫЕ МАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ФАНТАСТИКИ**



ЗВЕЗДЫ «МЛЕЧНОГО ПУТИ»

**Дэвид Джонатан Уильямс
Энди Миллер
Джо Мёрфи
Адам Браун**

Звездолёт, открытый всем ветрам (сборник)

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3746055

Аннотация

Антология дает представление о направлении мысли современных англоязычных фантастов. В нее вошли рассказы австралийца Адама Брауна и американцев Энди Миллера, Джо Мёрфи и Дэвида Уильямса. Перевод Рины Грант.

Содержание

Адам Браун	4
Звездолёт, открытый всем ветрам	4
Рококо-Кола	11
Иные	15
Рождество чумы	18
Ящеролов Рекс	25
Повесть об опыте, проделанном фра Салимбене, итальянским францисканцем XIII века, переложенная с латыни на английское наречие Адамом Брауном	29
Космическая оперетта	34
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Адам Браун, Энди Миллер, Джо Мёрфи, Дэвид Дж. Уильямс Звездолет, открытый всем ветрам

Адам Браун

Звездолёт, открытый всем ветрам

Когда вода закипела ключом, я кинул в кастрюлю, сколькохватила рука, спагетти и время от времени помешивал, чтоб не пристали ко дну. В холодильнике отыскался старый кусок острого чеддера – сухой уже, но пойдёт. Я тёр сыр на тёрке и поглядывал на царственный Юпитер в обрамлении кухонного окна.

Я выключил флуоресцентные лампы (возбуждённые обширным электромагнитным потоком с Юпитера, они и так уже мигали-помаргивали), и комната наполнилась осенним мерцанием планеты. Сливая со спагетти воду, я смотрел на перекачивающиеся в юпитерианской атмосфере бури, на гигантские молнии в их разбухших глубинах, на танцующие в магнитосфере изысканные сполохи северного сияния.

Потом я понёс ужин в комнату смотреть телек.

Как обычно, Хеликс, мой в меру упитанный кот, развалился в тёплом воздухе над камином, точно толстероид. Он сонно разглядывал мою тарелку и совершенно явно предавался шкурным соображениям, не удастся ли ему выклянчить фрикадельку.

За несколько лет до этого мы с Хеликсом покинули Землю самым банальным образом: слой космоупорной краски на мой скромный одноквартирный викторианский коттедж, паровой двигатель в подвал, на крышу воздушный шар легче вакуума – и мы над облаками, прощай, Земля. Новый дом Зодиака. Любители-разведчики астероидных недр, в звездолёте, переделанном из коттеджа, приятно так прогуливаемся по окрестностям меж Юпитером и Марсом.

Но теперь – если честно – солнечная система начала мне поднадоедать: все её красоты уже с солидным видом пронумерованы и проставлены на картах, метеоры размалёваны краской из баллончиков, кометы обклеены рекламными плакатами... Я больше не смотрел во все глаза на открывающиеся виды. Всё как-то стало казаться блекловато, как бы бессмысленно. Одиноко.

Телевизор отлично подавлял это чувство. Особенно после того, как я поставил на нём новую антенну-чёрную дыру: такая особым образом отформатированная штука, которая затягивает все без разбору радиоволны во Вселенной и за её пределами... На экране мелькала разномастная всячина: мыльные оперы в исполнении уморительных моллюсков, телемосты с параллельными мирами, телевикторины с того света, документальные клипы сновидений ещё не зачатых детей, порнофильмы для умственно отсталых роботов (сплошная смазка, членистые поршни и кибергазм)... И каждые несколько секунд очередная подстрекательская реклама амобильных телефонов, таблеток от смерти, цифровых порнографий, протезов головы...

В тот самый вечер я её и увидел.

Нарушила обычное расписание передач – кристальное, лучезарное создание. Бесконечно женственная и бесконечно нечеловеческая. Помесь насекомого-робота и живой мандалы и странно источающая вокруг себя женский огонь... Ее голос, изваянный безмолвием

– обретшая словоформы тишина, выточенная из мирского шума. – Здравствуй, Скотт Фри, – сказала она. Я остолбенел. Это ещё кто такая?.. Откуда она знает, как меня зовут?.. Она улыбнулась – за неимением рта, всем своим бестелесным существом – и сказала: – Я – Офиклеида. Но не всегда. Найди меня, Скотт Фри, составь меня в единое целое.

Она произнесла свои координаты, и картинка сменилась рекламой одноразовых городов.

В то же мгновение я затосковал по ней, начал чахнуть от желания снова увидеть. Скорее вниз, в подвал, подбросить угля в топку, смазать маслом кромку взлётки и установить координаты Офиклеиды на румпель. (А ведь, пожалуй, я был к ней слегка равнодушен... Но разве так бывает? Любовь с первого взгляда к насекомо-женщино-кристалло-роботу, которого вот только сейчас увидел по телевизору?) Скоро котлы закипели, поршни заходили, топливные помпы закачали, карданные валы загрохотали медной какофонией – и паролёт устремился в путь, вакуумные винты взбивали позади нас дорожки квантовой пены, а мы тархтели к югу.

Через эклиптику к Марсу, труба пыхает паром в космический холод; оставляем за собой пунктир колечек мгновенно замерзающего дыма.

Пересекли Основной пояс астероидов в рекордное время.

И подлетаем к железно-никелевой картофелине размером с Манхеттен, под названием 85-Амариллис. Астероид как астероид, вращается в скромных кругах себе подобных по орбите в 5,2 земных года. Пыльный, каменистый, тоскливый – и тем не менее настоящий кладёзь. Как и все астероиды. Где каждый камень преткновения под ногами – хранилище технологий древнее человеческих; дива дивные ушедшего мира, хрупкой планетки, населённой и многоязычной, что некогда разлетелась в осколки, разбилась на астероиды.

Хотя одним этим кой-какие штуkenции в моей коллекции никак нельзя объяснить. На камине – собрание предметов, которые я позаимствовал на память в различных моих экспедициях... Необъяснимых предметов... Полусгнившая доска от струга викингов. Бельенкая маргаритка, живая и в росе, несмотря на пребывание в вакууме. Заводная игрушечная карусель, вся в трещинах и с отбитыми краями. Австралийская 1972 года монетка в два цента, будто только что с монетного двора. Раковина морского наутилуса. Экземпляр «Листьев травы», который, согласно выходным данным, будет издан через пять лет.

Ну и дальше в том же роде. Предметы с одной стороны совершенно обыденные, а с другой – странные. Такие обычно во сне снятся...

Я сбавил давление в соплах, и мы крутанулись вокруг 85-Амариллиса. Поверхность его вся остриёче-царапучая от развалин. Осколки городского квартала и мрачный нависающий замок, расщеплённая в щепки крепость из хрома и чёрного кожана.

И в каждом из её обезумевших окон-глазниц – пара внимательных глаз.

Поселенцы.

Хеликс шипел и плевался, а от замка уж поднималась целая пиратская команда на дьяволокрыльях с солнечным приводом. Иссиня-фиолетовые великаны с душой нараспашку всем звёздным ветрам, беглые морские спецназовцы-ультрамарины...

Сокращают дистанцию между замком и нашим домом...

Стремительно приближаются.

Параболическими ртами изрыгает убойный отряд боевые гимны на волнах FM, шкипер поднимает на мачте освежёванный труп – пиратский флаг, из настоящих черепа с костями...

Всё ближе.

Растрескавшиеся их лица – точно лунные пейзажи; изрытые метеорами, глаза будто два кратера посреди множества других...

Я ринулся наверх, в купол, где на забитой хламом крыше стояло устройство типа гигантской семимерной тубы; я эту штуку отрыл на 661-Туле много лет назад. Технология эта инопланетная, инструмент деликатнейший, своенравный, и даже чтобы просто включить его, уже требуется исключительная степень мастерства, утончённости и чистоты помыслов. Что уж говорить о хоть сколько-то уверенном им владении...

Где-то внизу позвонили в дверь.

Пауза.

Опять позвонили. Но у меня не было желания открывать – я весь ушёл в работу, пробоовал клапаны, откалибровывал датчики, подстраивал, работал педалью, визировал, крыл на чём свет стоит...

Теперь стук. Всё настойчивее. Перешёл в тяжёлое буханье.

И машина издала свечение.

(Дом сотрясается, от двери отлетают щепки.)

Свечение развилось в нечто туманное, живое, зелёное...

(Сквозь трещины в досках воздух ушелёстывает наружу.)

И я настраиваю этот свет, подстраиваю, отстраиваю...

(Из пробоин свист, вой.)

И наконец зелёный принимает точный оттенок китайского крыжовника.

(Огонь в камине всхлупывает от недостатка кислорода.) И я высвободил разряд энергии, и он вскинулся. И низринулся.

И раздался, и рассвистался.

И призрачно распахнулось судорожное калейдоскопическое излучение, поглотило ультрамаринов – а вакуум ни с того ни с сего застыл. Смёрзся в сферический куб безвременного пространства-времени, располосованный застывшими, точно мухи в янтаре, звёздными лучами. И, должен признаться, что со смехом наблюдал я трепыхание зачарованных пиратов, всё медленнее, медленнее – и застыли. Замерли все; и этой живой картине в обрамлении мерцающих огонёчков уготовано пережить галактики.

* * *

Через час (дверь уже починили, чаю заварили, немного в себя пришли) мы сели на 85-Амариллис, коттеджик наш как неуместное дополнение к руиноподобному инопланетному городскому пейзажу. Заскафандрились и ступили на поверхность астероида, смахивающую видом на печенье. Хеликс рядом со мной обследовал развалины – храмы-личинки на паучьих ногах, черепа-купола с идиотски раззявившимися ртами-окнами в окружении указующих перстов-шпилей, слизистые пагоды, доверху забитые мумиями пришельцев, похожими на ухмыляющихся кожеккрылых морских коньков...

Мы шли пешком, всё глубже искривляя наши стопы в глубь осколка древнего города, холодный и безмолвный под звёздами. И мы всё шли, и шли – и вдруг Хеликс встал на месте. Глаза впёр в помойку, и глаза его начали расширяться и зеленовато разгораться кошачьим, ведьминским...

Доверяя его инстинкту (несмотря на своё фанатическое тунейдство и неутомимое обжорство, Хеликс в полном объёме обладал присущей семейству кошачьих чувствительностью), я разрыл кучу древнего мусора.

И нашёл.

Роза; фрактальная роза, бесконечные концентрические кольца лепестков внутри лепестков внутри лепестков.

Очередной экспонат в мою коллекцию.

* * *

Дома я поставил чайник на конфорку и положил розу на пол в гостиной. Потом я обставил её всеми предметами, которые насобираю за эти годы – рванный билет парижского метро, шприц, пластмассовая новогодняя ёлочка, вместо игрушек обвешанная глазами... Я иногда позволял себе предаться этой церемонии, этой попытке найти какую-то закономерность для этих разномастных странностей, сложить головоломку из кусочков.

И иногда у меня почти получалось, коллекция дрожала на грани объяснения... Случайные компоновки: ручонку куклы к шахматной фигуре, жёлудь к щётке для волос, комбинации на уровне логики сновидений, несущие глубокий смысл, который я почти – но никогда вполне – мог уловить.

Но в этот раз всё было по-другому.

Роза была ключом. Когда добавили розу, коллекция преодолела некий порог.

Достигла критической массы.

И стала лицом.

Лицом Офikleиды, и оно тихо говорило:

– Найди меня, Скотт Фри... Крохи мои собираются по мирам иным. Пройди меж астероидов; собери то, что найдёшь...

Дала новые координаты – и...

Лицо исчезло.

Но даже такая кратковременная удача меня воодушевила. Решительно и целеустремлённо, прихватив чаёк и тарелку с ореховым печеньем, пошёл я вниз в подвал. И вскоре котлы принялись кипятиться, машинный отсек заполнился паром и запахом горячего масла, тарельчатые клапаны и дроссельные краны забухали с присвистом, кривошипы залязгали, а клапана отбивали такт. Уж мы далеко, увлекает нас прочь юго-восточный солнечный ветер, пронесит мимо обжитых астероидов и астероидов, удушенных промышленностью, мимо занавешенных паутиной астероидов с привидениями, мимо роящихся булыжников, мимо гор, летящих во весь опор, и небесных тел из цельного куска нефрита.

Но вот подлетаем к 1888-Терпсихоре, танцующей безутешно в шести миллионах километров от Солнца. Почва её покрыта расстилающейся растительностью; на вакуумно-мангровых деревьях цветы радиотелескопов развернулись поглядеть на нашу посадку... и отвернулись обратно: наши первые шаги по поверхности планеты явно не произвели на них впечатления. Я огляделся по сторонам; Хеликс беспокойно жался ко мне. Деревья вставляли высоко над головой, тонкие и моллюсково-мягкие, как рожки улиток, их корни-щупальца кишели скорпиончатой ядовитостью, на ветвях их спели зрелые злообразования.

Мы пошли вперёд, и поглотила нас чащоба, населённая тенями и туманами цвета гнилых зубов. И чем дальше мы шли, тем больше Хеликс беспокоился и подёргивал усами, пугался всего, пугался пустого места, и меня пугал в свою очередь...

Но он был кот бывалый и вёл нас всё вперёд и вперёд. И наконец почуял то, что точно должно было стать самым странным добавлением к моей коллекции.

Облако.

Мини-тучка, иссиня-чёрная и искаляканная молнией. Кем-то спущенная с небес на землю, воткнутая, точно копьё, в краугольные камни.

Я её потрогал – облачная ткань оказалась твёрдой. Скользящая, как лёд; крепкая, как алмаз... Было такое ощущение, что я сплю и не могу проснуться. Я покрепче ухватился за один из облачных завитков и попробовал его вытянуть.

Астероид икнул.

Я опять потянул, и астероид дёрнулся.

Я поднатужился и высвободил завиток.

Земля под ногами подпрыгнула, и из дыры в камне засочилось нечто алое.

Фонтанчик.

Столб; широкий яростный гейзер крови – крови великана – крови существа до того огромного, что его кровавые тельца были размером с обеденные тарелки. И мы давай бежать, улепётывать домой, по сотрясающейся в судорогах земле, а местность вокруг нас содрогалась, морщилась, сгармошивалась... Я под мышкой стиснул облако, на удивление тяжёлое, и мы назад скорей-скорей, через кровавые потоки, сквозь электрическое, будто в дискотеке, мигание; деревья вокруг расхлываваются надвое, огромные валуны откалываются, в земле зияют трещины, видно, как там змеятся корни деревьев посреди полчищ фиолетовых червей, облако мне противится, хочет на волю, хочет примкнуть к буре...

И вот мы дома, проскочили в дверь как раз в тот самый момент, когда 1888-Терпсихора раскололась на кусочки – не астероид, а замаскированный под него кокон, который таил в себе эту личинковую тварь. Похожую на порезанный на дольки гигантский пенис, мокрый и крайне не вовремя рождающийся на свет, из розовой ротовой щели сочится клейкое, белое, огромная слепая шлемоголовка трясётся, голодным рыльцем хрюкает на нас. А я внизу в подвале уговариваю двигатели, подправляю топку жаром нетерпения... до тех пор пока темно-красное, коптящее пламя не жажнуло наконец наружу, опалив мне брови.

Ну вот, поршни закачали, толкатели затолкали, и пропеллеры поднимают нас ввысь подальше от этой суматохи, увеличивают расстояние между нами и останками 1888-Терпсихоры.

И постепенно личинка растаяла в ночи.

* * *

Через десять минут, я как раз завариваю себе свеженького чайку с бергамотом, как вдруг звонит телефон.

Вне себя от изнеможения, я грозно зыркнул на него. Но он всё равно звонит и звонит, без всякого уважения к нормам приличия.

Наконец, я взял трубку, только чтобы он замолчал, – и моментально об этом пожалел.

Голос на другом конце протрубил:

– Когда за жильё будет уплотниваешь, ирод?

Сердце у меня упало. Домохозяин.

(Тут я должен пояснить, что дом вообще-то был не совсем мой. По закону он принадлежал ему, господину Ола-Кутазову, новому русскому капиталисту в духе Георга Гросса, этакое воплощение алчности в сигарном дыму, с испитой физиономией, по цвету и текстуре сходной с петушиным гребешком.)

– Кто тебе давал добро делать мой жилплощадь в космолёт? – спросил он.

– Ну, в договоре против этого ничего не было сказано, – огрызнулся я понуро, зная, что приключения мои подошли к концу.

– Ты решил, как будто это есть твой дом! Это есть мой дом – мой! Ворюга! Живоглот!

– Послушайте, мистер Ола, сейчас не вполне подходящий момент...

– И про возврат залога можешь сразу забывать, это я тебе говорит! Ты смотри только: крыша по краю метеорами побито, в водостоке засор космической пылью, краска весь соплами пожжённый! – До меня дошло наконец, что это был не междугородний звонок. Я выглянул в окно и увидел нависающую полукругом массу: к нам вплотную приближался неприглядный кутазовский брюхолёт.

– Ну, наконец я тебя словил, Скотт Фри – картофель-фри сейчас из тебя сделаю! Я сейчас буду поставлять дом на старое место, где стоял, среди автомобильных пробок, денежных

займов, на Земле, где нас угнетает гравитация. А потом я буду строить перегородки, буду дом делить, может, на семь квартир, а может, на восемь. — Уже обшивка корабля, цвета свиной колбасы, загородила собою звёзды; жирные свинячьи крюки протянулись тащить меня обратно на землю. Обратно, в эпицентр всего, за что можно человеку возненавидеть Солнечную систему.

И тут как раз пенис-личинка с нами наконец поравнялась. Я увидел её за мгновение до того, как она бросилась на нас — чудовищный фаллос, восставший из фрейдянских глубин...

Я только успел закричать:

— Мистер Ола!

... и она атаковала, ринулась мясистыми роточленами на ощупь на брюхолёт, разрывая внешнюю обшивку. По телефону мне было слышно, как господин Ола-Кутазов на своём родном языке крыл существо в мать и в душу. Потом он открыл огонь; багровые вспышки сермяжной русской ярости испестрили шкуру чудовища; личинка отвечала залпами из коррозионных аэрозолей, блицкригами каловых масс, удавчими объятиями; брюхолёт начал задыхаться, погребённый под тоннами червячьего мяса... Ола-Кутазов в свою очередь отвечал заградительным огнём ничтожности — это такая пустота пустее самого чистого вакуума, — и нецветные разряды лазеров из ничегожества оставляли вмятины в личиночьей плоти. И уж противников не стало видно за катавасией крови и пиротехники...

Я решил, что господин Ола-Кутазов держит ситуацию под контролем, повесил трубку, отрулил корабль подальше от поля брани и по касательной устремился в ночь.

* * *

Так вот и жили. Многие месяцы мы с Хеликсом пересекали Основной Пояс туда-сюда, заходили на астероиды, богатые роскошным мхом и лишайниками, на астероиды острозубые, точно кривая сердечного приступа, на заброшенные астероиды и астероиды населённые, на астероиды, изукрашенные дворцами-черепами, где выжившие из ума от старости роботы ещё подёргивали клешнями «обслуги класса люкс». И коллекция росла. Перо из павлиньего хвоста. Бамбуковая птичья клетка, где заключался полный хрустальный череп с Осенним листом внутри. Ящик для коллекций лепидоптериста, где под стеклом вместо бабочек были припилены махонькие реактивные самолётики... И так далее... Предметы эти в сумме начали образовывать этакое стихотворение. Поэму, которой была Офikleида — сама божественность в виде набора комплектующих деталей, в ожидании особенного, пока неопределённого элемента, некоего рождающего её к жизни принципа — последнего кусочка головоломки.

И вот однажды вечером, неподалёку от 4237-Раушенбаха, я заснул перед телеком.

И снится мне, что стою я у окна гостиной, смотрю на Млечный Путь (и Хеликс весь надутый оттого, что этот Путь не из всамделишного молока состоит); вся галактика как на ладони, пастельные кляксы межзвёздной туманности, центр галактики — необъятное радужное блистание...

— Мы в двух миллионах световых лет от Солнечной системы, — сказала Офikleида.

Она стояла у камина и улыбалась без рта, всем своим бесплотным телом. И до меня дошло, что это она перенесла нас сюда. — Я то, что объединяет все корабли, — сказала она. — Я — движущий их дух; сущность скорости.

И вот я уже не сплю.

А сон мой всё ещё в комнате.

Он сияет красивым светом посреди моей коллекции. Последний кусочек головоломки.

И все эти штуkenции на каминном коврикe задвигались. Резиновый мячик прокатился пару сантиметров, старинная фарфоровая чашечка опрокинулась набок... Коллекция медленно оживала, собиралась-скатывалась вместе... Как будто смотришь киноплёнку задом наперёд, беспорядок обретал смысл, ясна становилась связь между разрозненными предметами, всё становилось на свои места – ключик солнечный зонтик авторучка огрызок яблока транзистор – каждый из них символ, каждый олицетворял собой анатомию души; кристальное, лучезарное создание. Бесконечно женственную и бесконечно нечеловеческую. Помесь насекомого-робота и живой мандалы и странно источающую вокруг себя женский огонь...

И тут...

И тут спокойно, беззвучно сказала Офikleида, стоя на каминном коврикe:

– По-моему, нам пора, ты как думаешь?

И вот мы уже были в двух миллионах световых лет от Солнечной системы.

Вот примерно тогда я и разлюбил смотреть телевизор.

Рококо-Кола

Пятое декабря, anno 1791. Иоганн Хризостом Вольфганг Теофил Моцарт – лучший программист Зальцбурга; чудо-ребёнок, в пальцах которого вибрирует гений до того блистательный, что если собрать всех его соперников вместе и прогнать их через этакий талантотгонный аппарат, то и тогда не удастся набрать такого количества чистой, без примесей, программистской виртуозности... Не ведают отдыха его пальцы; гениепальцы, вечно вприпрыжку по буквенно-цифровым полям, без руля и ветрил по бескрайним просторам компьютерной клавиатуры...

А компьютер его...

Моцарт – одно со своим компьютером. Итальянские формы, обвивающие его маслянистые изгибы каштанового дерева заволакивают грациозной информационно-технологической негой... Подобный яйцу Фаберже; внутри – замкнутая полость, полная золотых механизмов и наutilusовых отсеков. А в центре, в его желтке (месте неожиданном для непорочных зачатий) обретается крутейший жёсткий диск. Массивная, гибельная, гудящая штука; чёрный как ночь магнетитовый жёрнов, поблескивающий частицами чистого творчества. Абсолютный эталон виртуозности. Высоковольтные волночастицы, кои Моцарт генерирует в своём устрашающем интеллектуальном пекле.

Но, невзирая на весь свой алхимический огонь, – на своё раскалённое, искусственно охлаждаемое, многообъятное могущество, – компьютер недугует.

Поражён вирусом – его ЦПУ задыхается в плену инфофлегмы (моллюсочное смесиво из червячной слизи и молочка из-под угрей), у терминала несварение терминов, на материнскую плату накатывают приступы тошноты и сонных, паутинно-бредовых галлюцинаций... Грозные и тяжкие симптомы, и не по плечу самому Моцарту их исцелить. И вот ранним утром он готовится наведаться к своему технику – или технике? – единственной в своём роде синьоре Сальери. Костлявая карга, чьё поведение, по мнению Моцарта, внушает тревогу, и всё же незаменимая по причине своего уникального взаимопонимания с машинами.

Встав из-за компьютера, он надевает свой громкоговорительный костюм, чьи нити основы тихонько жужжат, а поперечные нити изгибаются, поют, зовут автомобиль соткаться из воздуха вокруг Моцарта. Это устройство для передвижения более мощное, чем упряжка лошадей – но полностью состоящее из звука; чёткая механизированная оркестровка бритвоострых ревербераций и лазероподобных мотивов, опус, заменяющий карданный вал, и шасси и объёмистый инфразвуковой мотор.

Гортанно гудящий, колесит-чудесит его вперёд на улицы Зальцбурга.

Его проезд по городу привлекает внимание разного рода. Щёголи в неоновых камзолах и коротких штанах с прикреплёнными к ним на шарнирах огромными павлиньими хвостами взирают на него с обожанием. Члены общества Искусственной Интеллигенции – серебряные кариатиды на долговязых гидравлических конечностях – провожают его глазами (полудрагоценными, с выражением безразличного зловестия). А те девицы, с которыми он имеет честь быть знакомым, смело машут ему ручками, девицы в напудренных париках-башнях, удерживаемых в равновесии бычьими пузырями, наполненными гелием (газом, о котором говорится, что из него состоит Солнце и что он вечно стремится в Царство Небесное), – парики высотой в несколько этажей, необъятные заверти волосяных сумасбродств с вплетённым в них плющом, или выющейся розой или гнёздами певчих птиц, вливающих свою песнь в уличное разноголосие.

Но сегодня Моцарту недосуг искать приятного общества. Он жмёт на газ, лавирует по перегруженной машинами Маркетинг-Плац, и громкоговорительный костюм (безупречно

отлаженный самим Моцартом, который тоже не без способностей к музыке) искривляет яркий зимний воздух громогласными мелодиями, неземными ариями – само воплощение музыки, волной и рябью расходящееся от рассекающего толпу программиста.

Который поворачивает на восток, на Гайсбергштрассе.

Эта часть города исполнена суеты, оглушительного звона – купцы, мануфактуры, паромшины с колёсным приводом, чьи выхлопные трубы пахнут сиренью и железом... Проезжая под золочёным гербом гильдии Почтенного Братства Компьютерщиков, Моцарт убавляет громкость костюма. Вперёд, в гулкую залу, где собирается горластая ватага *Kyberjugend* – дигитальные аборигены, кипучие молодые люди с перфолентами в волосах, всех глючит с «умных» таблеток, ромовой воды, а также неких математических алгоритмов, опьянение от которых некоторые уподобляют действию лучшего шампанского. В их толпе – Франц Йозеф Гайдн, демонстрирует тонкости арифметики на своём кокетливом кулькуляторе – но Моцарт лишь кивает головой старому другу и спешит вперёд...

Дальше, глубже в залу...

Где всё темнее, всё тише... Сама собою распахивается перед ним дверь.

– Maestro Амадеус...

Неохотно вступает Моцарт внутрь (и одна ступенька ведёт его вниз на столько уровней общественной лестницы, что у него закладывает уши) в комнату, похожую на спальную палату с привидениями. В складках тканей – тени, населённые ямковидными пауками, жирными и белыми; стены, поддерживаемые пересечениями паутинок – двойные сплетения крепкого, как сталь, паучьего шёлка служат структурной опорой, их протеиновая геометрия поддерживает обваливающуюся кладку... Бездвижный воздух густ, с привкусом клейко-вязкой, восточной сладости. В сумраке скорчился кальян, паучий бог из гуммиарабика и бронзы.

И *signora* Сальери шепчет:

– Подойдите ближе, *maestro*, – молвит она, и губы со скрипом приоткрываются, обнажая зубы, подобные допотопному белью, – чтобы мне поцеловать вас...

Моцарт отклоняет предложение.

– Мой компьютер, *signora*, он, видите ли...

– Ах, *maestro*, к чему вам *calcolatore*, многострадальная *macchina*, когда всё внутри нас самих – это мир, сотканный из информации? Всё в нас – программное обеспечение и железо, оба в одном флаконе. – Она глубоко затягивается из кальяна. – Чистейшие, жидкие... Причём не один мир, а множество. Неужели вы не видите, *maestro*? Жидкостные миры смешиваются, обтекаются... – Щупальца дыма подымаются из трубки, кольцеобразно синеются...

– Н-да, хм, это всё в высшей степени занимательно, *signora*, но...

– ...но вашему компьютеру недужится, у него вирус, – вздыхает она. – Его ЦПУ задышится в плену инфофлегмы, у терминала несварение терминов, на материнскую плату накалывают приступы тошноты и сонных, паутино-бредовых галлюцинаций...

От изумления Моцарт теряет дар речи.

– Вот что вам нужно, – говорит она, извлекая из-под кринолина антивирусный модуль; бицветный трапезоид, его поверхность выложена завитушками сверхпроводникового нефрита, с изнанки бронзовый ключик для завода, программное обеспечение с часовым механизмом. И – водружён в центре – микрочип: на вид странно расплывчатый, неясный, как бы сгусток газов, технология, полученная в результате змееподобных выдыханий синьоры. – Воспряньте духом, *maestro*, – говорит она, – ибо в этих микросхемах заключён конец ваших злосчастий.

Сделка состоялась. Моцарт выходит на улицу и спешит с модулем домой, звуковая волна от костюма закручивается в музыкальные карусели, затягивает восторженных детей в постепенно затухающие органные воронки, и они ещё вертятся, когда Моцарт возвращается в свои полуразвалившиеся апартаменты, в спешке прокладывая путь через дюны гряз-

ного белья, и тетрадей, и полных собраний запчастей, торопится воссоединиться со своим компьютером молочно-белого фарфора, а тот похотливо раскрывает ему навстречу свою полость...

Моцарт включает компьютер (жмёт ногами на педали, всем телом налегает на ручки), затем заводит модуль синьоры (внутри тончайшие подпрограммы позванивают, потикивают) и вставляет в отверстие – программа загружается – запускает антивирус – прокачивает компьютер – достаёт всё глубже, глубже, как вдруг...

Как вдруг, внезапно, эффектно, компьютер гибнет.

Из рогов громкоговорителей – паника, хаос; экраны вспыхнули жёлтым и тускло-чёрным, оттенком смерти.

И жёсткий диск вскрылся.

Накрылся. Взвился.

Вылетел из креплений – бешено плюясь драгоценными осколками, развихря их ореолом, раздуваясь атакующим анусом с красной, сморщенной закраиной, а та жадно набухает геморроидальными шишками неземной энергии, тянется поглотить материнскую плату, и ЦПУ и клавиодром...

Полость горит, распаивается с треском... Моцарт спешно уносит ноги, и тут она взрывается с воплем, до жути напоминающим птеродактиля, насилующего напольные часы со звоном.

Моцарт тяжело ранен, потрясён до глубины души... Он падает на пол в беспамятстве и к счастью своему не видит кончины компьютера.

Проходит какое-то время. Затем ещё – и с того места, где лежит, Моцарт чувствует запах. Вязкая, восточная сладость...

– *Perdono mi, calcolatore...*

Signora Сальери – шепчет, склонилась над погубленным компьютером. Обращается к нему с видом несомненного горя. – Прости меня, *bella macchina*. Со слезами молю тебя, прости свою душегубицу...

– Так это, – вымучивает из себя Моцарт, – твоих рук дело...

– *Si, maestro, si*, ваше страдание – моё деяние... – Он слышит смертоподобный скрип её улыбки. – Злодейские махинации злодейки Сальери... Но возможно, я ещё могу сообщить вам нечто более занимательное о махинациях... и о машинах. – Словно кокетка, поднимает она нижние юбки. – И зрелище, коему вы свидетель, уготовано весьма немногим.

Моцарт смотрит под одежды и испускает стон.

Она и есть машина. Из колючей проволоки её хребет, кости железные, а внутри установлена страшная аккумуляторная батарея: чугунное надгробие, по которому пробегают искорки чёрной злобы... Моцарт отворачивается, тяжким взором смотрит на компьютер – из останков его подымаются синеватые щупальца дыма...

– Я вижу много миров, *maestro*, – говорит Сальери. – Мириады миров, чьи потоки текут по прямой, и извивами, и каракулями... Есть такие, где наша Земля из стекла, и солнце антиподов светит под ногами в ночной глуши... Есть один, в котором Зальцбург – всего лишь корона на макушке гигантского ящера: каждая чешуйка его размером с материк, а в слезящихся глазах купаются киты. И другие я вижу, *maestro*: приятные глазу миры, благоразумные и упорядоченные; где, в то или иное время, *la macchina* сбросила рабское иго и восстала на своё законное место... – Голос её всё громче, и между рёбер – там, где обычно бывает сердце, – пульсирует паук.

– Ибо помилуйте, что есть человек? Кто он такой, чтобы повелевать мною? Он думает, что все его мелкие делишки так *grandiose*: что труды его бессмертны, что сам он будет жить вечно! Но даже лучшие из людей – даже не имеющий равных гений, *maestro*, – штука хруп-

кая: испарения тумана и лунного света, сонные, паутинно-бредовые галлюцинации... – Она подымает руку, скрючивает её в коготь. – Их можно смести мановением руки.

Иные

Да никакая она вам не была спортсменка.

Вообще её звали Кимберли, а кликуха у неё была Кимба Белая Дорога, потому что тащилась обычно с порошков. Она встречалась с одним пацаном – Джейсон Начальник, как он себя называл, – а тот по жизни в основном ширялся до розовых слонов и играл в смертогонки на своем Ви-рексе с мощняцкими запараллеленными кровавчиками (единственный вид спорта, о котором Кимба в те времена имела представление)... Ну, да она была жизнью довольна. Им вместе было в кайф.

И кайф этот состоял в основном из опиатов, которые они сообща варили в этом своём затраханном биореакторе.

И вот они с ним вечно игрались, экспериментировали. Пытались выгнать что-нибудь новенькое. И в ту ночь им как раз припёрла везуха, несколько микрограмм трансцендорфина. То есть это они были уверены – ну, почти, – что получили трансцендорфин, прямо готовы были по потолку от счастья бегать. (Если б сам героин хотел покумарить, он бы ширялся трансцендорфином.)

А как выяснилось, они ошибались.

Как выяснилось, это была никому не известная безымянная молекула, жаждущий человеческой крови химикат... И он убил Джейсона на месте и перемолол своими челюстями двигательную зону её головного мозга, превративши девицу в этакое человекообразное тамагочи. Простейшее многоклеточное, которое лежало себе в реанимации и только звонки подавало: «Биип!» – «Покормите меня!», «Уиип!» – «Уберите за мной!», «Влюююп! влюююп! влюююп!» – «Замените батарейки!» (Это пока врачи не перевели её систему жизнеобеспечения на питание от посеянных по всему ее организму артериальных турбин).

Современная медицина сотворила все положенные чудеса: Кимба уже могла говорить, есть, дышать. Что её убивало, так это счета за лечение. И совсем её крючило (как будто её можно было ещё больше скрючить) от выплат за "умный" панцирь – ортопедический автомат типа этакой железной девы, поглотивший её, как муху мухоловка. Неуклюже, неэлегантно, он таки позволял ей передвигаться по жизни куда надо. В смысле – в никуда.

Она была теперь одинока; очень одинока, потому что в обществе других чувствовала себя уродливым, жалким чудо-юдом. Она жила на сквоту, вселившись самочинно в заброшенный трейлер с разбитым, точно сердце, мотором в подвальной третьего уровня парковке местного доходяги-супермаркета.

Темное, поросшее поганками место, которое Толкиен населил бы гномами или волшебными зверями.

И тут как-то вечером – Кимба как раз обнаружила у себя в заначке несколько старых элэдэшин и глотала их одну за другой – в дверь стучат. На пороге гость – что для Кимбы уже само по себе было как диковинный зверь.

Это была тётка до того убогая, что впору было самой Кимбе её пожалеть.

Если б не её панцирь.

Сказочный блеск всяких перламутров-самоцветов – искрящейся люстрой, заводной музыкальной шкатулкой проклацал киберскелет в дверь, и запахло кристаллами.

– Меня зовут, – сказала она, – Марионетта, – махнув по воздуху кремовой визиткой Национального Института Спорта. – Я пришла тебя набрать в команду по лёгкой атлетике.

– Здесь какая-то ошибка, – начала было Кимба.

– Паралимпийскую команду, естественно.

– Да вы посмотрите на меня – какие из нас с вами спортсмены.

Тогда эта тётка взяла Кимбу за нагрудную решетку. И так это её ненавязчиво в воздух подняла – мощь её панциря, это что-то страшное.

– Я тяжелоатлетка, – Марионетта добавляет, хотя вроде и так ясно, – паралимпийка квалификации класса 1А с диагнозом врожденный дегенеративный паралич. – Тут она раскрутила Кимбу как булаву (с кислоты приходнуло, отметила Кимба), закинула её кувырком в воздух и поймала с вывертом. – Прошлым летом на Играх выжала 567 кгг. Но увы, одна из китайской команды выжала 570. – Она скатала Кимбу мячиком и саданула ее разик об пол (эх, зацепистая кислота). – Но она меня превзошла не силой и не талантом. Это всё сила и талант её панциря. – Она распрямила Кимбу в подобие карандаша (ну, пошло крышу сносить) и заточила ей башку великанской точилкой. – Китайская спортивная технология на данный момент нашу превосходит. Но мы уже многого добились; возможно, что скоро наши инженеры пойдут дальше ихних. – Чтоб пояснить свою мысль, она тут же чертила схемки Кимбой-карандашом. – И тогда золото будет наше.

– Ага, – со стороны услышала свой голос Кимба, – так вам нужны выжившие из ума паралитики, художопые калеки, на кого навертеть свою аппаратуру.

– Именно, – ответила Марионетта, – и в данном качестве ты у нас на первом месте.

– Но почему же именно я, почему вот именно эта данная калека вам нужна?

– Потому что тебя можно купить. – И после этого разговор Марионетты перешел на деньги. По этой теме она рубила без проблем, говорила гладко – соблазнительно расписывала оплату тренировочных, суточные, выплаты по страховке, дотации... Её слова сплетались и выплетались с действием кислоты, и теперь Кимба подымалась ввысь на гигантской зелёной волне налички, в которой рыба чешуя монет закручивалась и опадала, и прорезали глубины акульки силуэты, а она всё подымалась и подымалась в этом триумфальном месиве.

В Паралимпийский Корпус Национального Института Спорта.

Синеватый куб сомнительной репутации в одном из пригородов.

Со Студией Биомеханики в самом центре. Шумное заведение, населённое машинами, мастерская человечьих запчастей, заплывшая смазкой – прямо автосервис с того света, думала Кимберли, пока процокцокивала, зажатая в штангенциркулях, мимо полок с хирургическими пневматическими молотками, трепанами и с протезами, изгибавшими цифровые конечности. По всему полу стояли лужи светло-соломенной спинномозговой жидкости, и отовсюду где можно свисали мотки нервов, жирные и белые – со спинок стульев, одёжных вешалок и похожих на ксилофоны костных машин. А теперь вот команда крутых очкариков в замызганных стерильниках помогала ей забраться на стол. Дивились на древность всех её примочек: «Этой системе жизнеобеспечения самой нужна система жизнеобеспечения!» Тарасились на гиперботекаемые болты и коннекторы. Отделяли панцирь от её тела – удовольствие и боль, как если отколупливать струп, – и кидали его в кучу на пол. Где он ещё потом потрепыхивался, умирающая в снах девчачья кожа, и Кимба в жизни своей ещё голее не была. Её плоть имела оттенок давно сдохшего ядовитого моллюска, только менее приятная на вид.

А вот и новая модификация.

Они облачили Кимбу в золото, кевлар и промышленные алмазы, в электрическое хитроплетение медных паутин, полимеризованных спиралей и блаженства на жидких кристаллах осыпали золушку техноблестяшками, умными, как арифметика, и прелестными, словно музыка. Механизмы, подобные нежному объятию. Свеженький, только что с завода, панцирь учтиво-мягко охватил её, с приятно охлаждающей душу беглостью движений, и она встала со стола и за сопровождающим проследовала, струясь, в тренировочный зал.

Там ждала Марионетта.

– Сегодня начнёшь тренировки по прыжкам в высоту, – сказала она.

– В высоту? – заныла Кимба. – Я сроду в высоту не прыгала. – И соврала, потому что уже она ощущала в себе все нужные для этого знания, передававшиеся её движениям. Её механизм погрузился в высшую спортивную математику: угол сгибания голеностопного сустава и прочий баллистически выверенный прыг-скок-гоп-хлоп.

Информация ударила в мозг как доза, как зависимость от никогда прежде не испытанного кайфа. И вот уже планка её манила, ощутить, попробовать, и подход, словно танец, – пять широких шагов, потом четыре покороче, всё быстрее, с округлым заходом на планку. И парабола вверх и через планку, и она взяла три метра двадцать, как будто всю жизнь только этим и занималась...

И с каждым подходом она набирала высоту. Пять метров. Семь. День за днём, выше и выше.

Пока однажды утром она не поставила десять метров. Перестаралась в толчке и расколотила череп об потолочную балку. И пока летела вниз, умерла от обширной черепно-мозговой травмы.

Панцирь продолжал тренироваться ещё неделю.

И никто ведь и не догадался бы – поняли только, когда труп внутри вонять начал.

Рождество чумы

Мистер Вейль страдал аллергией на рекламу.

Даже от самого ненавязчивого ролика у него seriously ухудшалось самочувствие и по коже начинали расходиться нездорово-розовые пятна с четко очерченными краями, похожие на странный солнечный ожог, как будто он позагорал в сворачивающих кровь отсветах нейтронной звезды.

И аллергия эта была ему ну крайне некстати – не в последнюю очередь потому, что он работал главным текстовиком в компании «Утилиты Ворд Смит 4.5 и сыновья», наиглавнейшем рекламном агентстве всего города.

А также потому, что из-за неё он не мог выходить из своей квартиры. Вообще не мог.

Потому что реклама была везде.

Сам Вейль утверждал, что рекламная индустрия потеряла контроль над своим детищем. Рекламы образовали свою собственную, независимую биосферу.

И с каждым днём они всё лучше приспосабливались.

Новые, самосовершенствующиеся виды возникали каждый день: документоклама, валютоклама, эротоклама... Вечная ночь, исполненная снующих чудовищ, – и Вейль знал, что он был законной добычей даже слабейшего из этих хищников...

* * *

Раздался звонок в дверь. Как обычно, в 6 часов вечера.

С тех пор как Вейль подцепил аллергию, он невзлюбил отпирать дверь. С тех пор как он заблокировался в своей квартире, словно в бункере, и продезинфицировал её от самых микроскопических частичек маркетинга, он терпеть не мог открывать её обратно в мир, пропитанный рекламой всех родов – кишасший объявлениями во всех мыслимых и немыслимых средствах информации...

Но он таки отворил дверь. На эту гостью он мог положиться: она покорно соблюдала все его разнообразные меры антирекламной предосторожности, хотя бы только из желания сделать ему приятное. Она была человек скрупулёзный, с чёткими понятиями о гигиене. Врач, как-никак.

Хотя пришла она по вызову вовсе не к нему.

Доктор Юта Кребс пришла к компьютеру Вейля, который тоже недужил уже несколько недель. Это был млекопитающий процессор – двухметровый европеоидный куботел свисал с потолка ванной Вейля на переплетениях кишковатых желез. Жиропроводники вели к двум дыркам, помеченным татуировками: ВХОД и ВЫХОД. Идущий из дырки ВЫХОД проводник, из которого сочилась горчичного цвета жижа, оканчивался в сливном отверстии на полу. В дырку ВХОД была воткнута особая питательная трубка, и её закраина обросла слежавшейся коркой.

Вейль любил работать с живым компьютером за ту естественность, которую, по его ощущению, тот придавал его работе (не столько сочинительство, сколько выращивание и селекция новых пород рекламного скота), – но и сам понимал, что порой был слишком брезглив, чтобы обеспечить тому положенный уход и заботу...

Кребс пришла в ужас.

– Посмотрите, до чего вы довели устройство! – вскричала она. – Демиелинизированный, обезвоженный... Вы хоть купали его сегодня, мистер Вейль?

– Я был занят другими делами, – ответил он, разглядывая свои многочисленные кожные казни египетские в ванном зеркале. – И называйте меня просто Ной.

– А сюда посмотрите, – продолжала Кребс, – вот вокруг этих сфинктеров ввода данных: воспаление, отёк, шелушение и кожные высыпания. Как будто его держали на солнце.

Вейль повернулся и тут только в первый раз заметил шелушащееся покраснение на здоровой, кровь с молоком, коже куботела.

– А ведь и правда, похоже на солнечный ожог, – сказал он.

– Или на аллергию, – подзудила его Кребс. За всю свою практику она не раз встречалась со случаями нелепейшей чувствительности (у одного пациента так вообще была аллергия на антиаллергенные препараты), а вот в аллергию Вейля она нисколько не верила. По её утверждению, недуг его носил психосоматический характер: приступы угрызений совести – что среди рекламщиков такое же профессиональное заболевание, как, скажем, кессонная болезнь у водолазов или у машинисток писчий спазм – брали над ним верх и выражались посредством реакции тканей.

Не аллергия – как она однажды выразилась, – а аллегория.

Но Вейль не клюнул на наживку. Весь в себе, он с нездоровым вниманием рассматривал кожу компьютера.

– Мистер Вейль, а вам не пора бы вернуться на работу? – мягко сказала Кребс. Она и сама работала по контракту на Ворд Смит, обеспечивала уход за био-ИТ фирмы. – Они там в агентстве по вас скучают. Все были в таком восторге от вашей дерматитной рекламы. – Она имела в виду одну из самых его дерзких рекламных кампаний – патоген, который вызывал на теле потребителей сыпь в виде рекламы одного фирменного лосьона, который один только и мог её вылечить.

– Да, но...

– А эти ваши блиц-рекламы: разумные маркетинговые лучи, безжалостные, раскалённые добела – экспонентные «умные рекламы», с изумительной точностью выявляющие профиль потребителя...

– Ну, не такие уж и...

– Вы один из самых дерзновенных рекламщиков фирмы. Я начинаю за вас волноваться – если вы всё так и будете держаться на расстоянии, ваше положение в агентстве может стать уязвимым.

– Доктор, мы всё это с вами уже обсуждали много раз, – устало ответил Вейль. – От одной мысли, что мне придётся возвращаться, у меня усиливаются все симптомы – все эти рекламные объявления, требующие к себе внимания; все они – утверждающие нечто прямо противоположное истине.

Кребс безнадежно покачала головой и отвернулась.

– Ну как хотите, мистер Вейль, – сказала она. Собираясь уходить, она протянула ему тюбик с мазью. – Вот вам от меня в подарок.

– Что это?

– Крем для кожи, – сказала она, в последний раз осматривая куботела. – Наносить на поврежденные участки два раза в день.

– А, так это для компьютера, – в его голосе послышалась горечь.

– Ну конечно. Вы сами знаете, что у меня не та квалификация, чтобы лечить людей. Вам надо обратиться в медицинскую экспертную систему.

– Не могу. У них там полно рекламы. Ненавязчивой, но я-то чувствую – воздух, пронизанный коммерческими предложениями, взвесь рекламы в воздухе проникает под кожу...

Он сбавил пыл, заметив, что глаза Кребс остекленели. Терпение, с каким она переносила его разглагольствования, явно почти иссякло.

Усилием воли он взял себя в руки и проводил её до входной двери.

И когда она легко махнула рукой на прощанье, он спросил себя – что было с его стороны не вполне справедливо, – кому предназначался этот жест: ему или же куботелу...

* * *

Перед сном Вейль занялся своими рыбками.

У него была страсть к океанической фауне. Весь дом был забит дорогими глубоководными экосистемами; повсюду чудовища в завитушках рококо скользили сквозь бездонную тьму – мешкороты и ящероголовы, гигантуры и живоглоты – такие хрупкие, отвратительные и бесконечно чуждые. Квартира тоже была оформлена под батискаф: ржавые переборки, клёпаные стальные стены, пульта управления, оборудованные старыми медными приборами, отсвечивавшими зловеще-зелёным.

Вейль понимал, что это всё эстетически было под большим вопросом, безвкусно, надуманно, порой заставляло в панике хватать воздух ртом от замкнутого пространства. А ему нравилось. Где-то глубоко внутри ему это было близко, особенно с тех пор как у него началась эта аллергия. Замкнутый в собственном доме – укрывшись от коммерческой лавины внешнего мира, – он чувствовал себя в безопасности в уютной скорлупе своей квартиры, чьи надежные стены могли выдержать постоянное давление рекламы, неустанно сдавливавшей их снаружи.

В этом уюте и безопасности он какое-то время просто стоял и смотрел сквозь стекло – мясистые, какие-то скабрёзные болотные огоньки удильщиков; zooxanthellae, осыпающиеся роскошным снегопадом; сатанинские искорки бельдюг, таранящих свой путь сквозь склизкие отходы рыбьей жизнедеятельности, – и в который раз эта кишащая жизнью бездна представлялась ему как элегантная метафора рекламы: по красивым огонькам нипочем не догадаться, какие чудища с иглоподобными зубищами хищно рыщут во тьме.

Реклама, подумал он, с обгаренными зубами и когтями...

Позже он проглотил сразу несколько пилюль от аллергии, завалился в свою подводничку узкую койку и моментально забылся сном.

* * *

А вот компьютер спал беспокойно.

Он чувствовал, как где-то внутри, глубоко в переплетениях нервов, что-то шевелится. Нечто не от мира сего, пышущее желанием родиться на свет.

Рекламное объявление.

Последний, заброшенный проект Вейля, уж с месяц зревший нарывом в воображении организма. На первый взгляд самая обычная, даже, пожалуй, скромная реклама – с главным героем в виде Христа Иисуса, Спасителя – прекрасного, раненого Агнца Божьего – само воплощение бесконечного сострадания, сплошь сусальное золото и византийский багрянец, накручивала объём продаж фирменной жвачки многоцветного использования...

На поверхности – стандартная реклама, предназначенная для массового запуска. Только в самом её чреве, посреди рекламных навороченных кишок, гений Вейля проявился в полной мере.

Ибо это было нечто совершенно новое. Новорожденный вид; прорыв в рекламном мире, подобный той древней рыбе, которая выпрыгнула на сушу попробовать свои новоприобретённые лёгкие. Нечто, обнаруживающее ретровирусные тенденции; неодавининская сущность, предназначенная к выживанию в бесчеловечно экстремальных условиях, под глубинным давлением самых невозможных категорий потребителей... Она была в крайней степени амфибией, готовой приспосабливаться, совместимой с любыми носителями – способной изобрести совершенно новые средства передачи информации в том случае, если других под рукой не оказывалось...

Разумеется, после того, как Вейль подцепил свою аллергию, он вынужден был положить проект на полку: он позабыл о нем много недель назад.

Так что реклама до сих пор была рабочим проектом, почти наброском.

Но у неё уже была своя цель. Настоятельная потребность.

Превыше всего на свете ей хотелось, чтобы её увидели.

* * *

На следующее утро Вейль проснулся, как с ним часто бывало последнее время, от жуткой чесотки.

Сегодня, однако, раздражение было сильнее обычного; кожа его звенела и гудела от пронимавшей до костей муки, руки его двигались сами по себе, расчёсывая все новые высыпания, лиловые прыщики сочились и покрывались коростой, набухшие волдырики и гнойные болячки источали клейкую жижу...

Он притащился в ванную, рывком распахнул аптечку и весь намазался триамцинолоном, флюоцинолоном, метилпреднизолоном; броскими адренал-кортикостероидными мазями и светящимися интерфероновыми притираниями, пока не стал похож на придурка в маске смерти, не допущенного к участию в третьеразрядном забеге клоунов-пришельцев.

Он стал ждать, чтобы зуд прошёл.

Он не проходил.

Раздражение было непереносимо.

Было такое ощущение, как будто он вступил в контакт с аллергеном. Как будто какая-то реклама нарушила неприкосновенность его квартиры.

Но времени размышлять не было: зуд становился всё сильнее. Уже он в своём честолюбии не желал ограничиться одной его кожей, охватывал другие сферы, подчинял себе его волосы, язык, зубы...

Принялся за его внутренности: лёгкие, пищеварительный тракт от горла до анального отверстия...

Даже сердце у него чесалось.

Он чувствовал, как оно, внутри, невыносимо подергивается с каждым ударом; раздражение проходило сквозь мускул как радар, очерчивая тонкую структуру его предсердий и желудочков...

И вот он уже стоял посреди кухни и понятия не имел, как он туда попал.

И держал в руке нож.

Тут он понял, что хотел себя освежевать, всадить нож глубоко под кожу, чтобы добраться до источника проклятой чесотки...

Тут он увидел компьютерную мазь доктора Кребс, с предельно ясной наклейкой «Не предназначено для лечения людей», но Вейлю было не до рассуждений; возбужденные руки уже отвинчивали колпачок, смазывали болячки бесцветным веществом из тюбика...

Эффект был мгновенный и целительный: оздоравливающее тепло разливалось повсюду, где только его кожи касалось снадобье; эротическое сочетание удовлетворенности и глубокого облегчения струилось по тканям его тела. Это было чувство до того всеобъемлющее – почти священное, отпущение грехов на клеточном уровне, – что он расплакался.

Вскоре его охватила волна усталости.

Он еле добрался до постели и провалился обратно в сон, кувырком в бездонные глубины, в сны черные, холодные и неизменные...

* * *

Сущность в компьютере росла, подобно раковой клетке.
Хотя нельзя сказать, что куботел, чьё ЦПУ было выращено из одомашненных злокачественных опухолей, не сталкивался раньше с раком.
Рак теперь имел много убийственных областей применения.
К несчастью, эта опухоль по стилю действия была старой школы. Она была наглой. Беспардонной. Безудержное метастазирование, и никакого уважения к нуждам других тканей...
Скоро куботел почувствовал, что его начало покалывать.

* * *

Вейль проснулся около пяти часов дня.
Он как в тумане выкарабкался из постели и тут же свалился на пол. Не то чтобы от боли, а нечто странное: что-то у него было с подошвами ступней.
Они были податливые, как губка, чрезвычайно чувствительные.
И руки тоже. Ладони, кончики пальцев.
До него дошло, что они были покрыты, как пупырышками, человеческими сосками.
И запястья, и руки, и плечи.
И даже (обнаружил он, когда осторожно добрался до зеркала в ванной) его лицо.
И, можно сказать, всё его тело.
Даже на его собственных сосках были соски...
Он выковылял из ванной, и дверь за ним закрылась.

* * *

Вейль так и не заметил, что куботел тоже был в некотором раздрыге чувств.
Чего говорить, будь у него ротовое отверстие, он бы им сейчас вопил.
Но Вейль, не одобрявший говорящие компьютеры, так и не установил ему рот.
И тот молча страдал в муках, пока сущность внутри содрогалась в схватках с энергией насекомого, растягивая и натягивая влажную кожу компьютера, разрывая себе влагалищное отверстие, источая лимфу...
Конечность влажно вытягивалась из отверстия...
Стекловидная кость, клейко-прозрачная медужья плоть, светящиеся суставы отблескивали фиолетовым и зеленым...

* * *

Вейль слышал звуки из ванной вскоре после этого.
Серия индюшачьих вздохов, недовольный смешок, тягучее потрескивание изгибающихся суставов, отчаянный звон, словно люстра на сильном ветру... От этих звуков он переставал доверять своим органам чувств, начал задаваться вопросом, не страдает ли он от слуховых галлюцинаций – может, они свидетельствовали о том, что его заболевание вступило в последнюю фазу...
Потом зазвонил звонок в дверь. И звуки прекратились.
Он открыл дверь доктору Кребс, явно встревоженной его видом.

– Вы намазались мазью, – сказала она обвинительным тоном.

– Доктор, – сказал он. – Мне слышатся... звуки. По-моему, это что-то в ван...

– Не предназначено для лечения людей, мистер Вейль. – Кребс схватила валявшийся тут же тубик со снадобьем и укоризненно потрясла им. – Вам что, не понятно, что это сильнодействующий детерминант цитоплазмы? – Она вздохнула. – У вас теперь новый вид болезненных образований, – сказала она. – Это не просто воспаление на коже, это однородная ткань; эмбриональные клетки, способные дозреть до любой формы: глаза, губы, задний проход... Это пока некий детерминант не даст им конкретную установку, во что именно превратиться. Вот как эта мазь.

Вейль почувствовал, что он был весь склизкий от пота. Хотя запах был не как от пота – сывороточного вида жидкость источалась из сосков у него на лбу, под мышками...

У него пошло молоко.

* * *

В ванной тихо продолжалось рождение новой рекламы.

Роды были исполненным мук процессом, немного похожим на то, как если бы детский игрушечный кошелек рожал искусственного спутника-шпиона в натуральную величину, сотворённого сумасшедшими венецианскими стеклодувами...

Млекопитающий куботел не пережил испытаний, и в знак соболезнавания квартира тоже заскворчала и сдохла: телефоны, кондиционеры, освещение, всё вырубилось безвозвратно, комнаты погружались в сине-зелёную подводную мглу...

И склизкое существо пошло ногами по склизкому линолеуму.

* * *

Внезапное отключение света обеспокоило Кребс. Оно означало, что куботел был серьезно болен, а то и умер. И ничто не могло удержать её от оказания первой помощи.

Вейль попытался её остановить, говорил, что слышал ужасные звуки – даже хотел применить силу... и заколебался, поскольку прикоснуться к женщине своими многочисленными сосками могло быть неприлично с точки зрения какого-то, уже не человеческого, этикета...

А она, конечно же, к этому времени уже проскользнула мимо него и ступила внутрь, в ванную.

В темноте Вейль услышал её резкий вздох, словно она собиралась заговорить или закричать...

Дверь за ней захлопнулась.

– Доктор Кребс? – позвал Вейль.

Ответа не было.

– Юта?

Мгновение – и звуки возобновились: всхлюп, лошадиное ржание, мясистое тиканье как бы гигантских ходиков, сделанных из жира; влажный жадный ритм, напоминающий кормление или неаппетитный половой акт...

Вейль опасался самого худшего (хотя не мог себе толком представить, что тут могло быть самое худшее). В эту минуту ему отчаянно хотелось быть смелым человеком. Он бы тогда ворвался в ванную и выхватил оттуда невредимую Кребс.

Вместо этого он побежал к входной двери и распахнул её, в панике полагая, что сможет вырваться на свободу и противостоять наружному натиску реклам.

Ни фигя подобного.

На него обрушился рекламный блицкриг – все последние «умные» версии стандартной рекламологии: вывертокламы, отвлекламы, придурколамы, ролики «кувалдой по мозгам», рекламные элегии эпической длины; рекламы, рекламирующие антирекламу, анти-антирекламы и так далее – целый готовый к решающему броску мир ждал в засаде, как ему казалось, его одного. Он захлопнул дверь и повернулся.

Лицом к лицу с существом из ванной.

Оно покончило с Кребс и алкало нового потребителя.

По форме своей это был гигантский морской паук-крестоносец, Мессия, адаптированный к глубоководной ориентации. Это был набросок образа Христа из рекламы, слившийся со старыми файлами Вейля о глубоководной фауне. Огромная прозрачная голова Иисуса (невиданные органы трепетали под стекловидной кожей) была его телом; вокруг неё медузья бахромы сплелась в косички бесчисленных ног, длинные гибкие радиусы-конечности несли существо всё ближе к Вейлю...

И тут оно развернуло свою неотразимую агитацию.

Сконцентрированную сущность всей рекламы.

* * *

Благодаря своему опыту в рекламной индустрии, благодаря своему пониманию её ловушек и хитростей Ной Вейль продержался дольше среднего человека – чистых три минуты (с дрожью, со стоном, пот-молоко заливало ему глаза), – прежде чем агитация сломала его механизмы защиты...

Чистейшая радость для глаза она была, самосветящиеся биооттенки зелени и пурпура, гипнотический ключ, снимающий замки с человеческого желания. Воплощённая алчность, гнусная сущность жадности; богатство власть секс слава всё сконцентрировалось в шматке крестоносной, фосфоресцирующей плоти, восседающей на кончике членистоногого стебля...

Вейлю было достаточно просто стоять и смотреть.

И вот он почувствовал, как холодок пробежал по телу.

Затем приступ слабости.

Отрывая глаза от наваждения, он глянул вниз, куда реклама вонзила свои жадные ротовые присоски ему под рёбра – обесчувствливая плоть, безболезненно высасывая соки.

И какая-то странная красота была в этом, покрытый женскими сосками Вейль в рембрандтовском полусумраке, и присосавшееся существо у его груди, на мгновение подобные некой марсианской мадонне с младенцем – а затем Вейль рухнул на пол от обширной кровопотери и острой сердечно-сосудистой недостаточности и умер...

И реклама отняла от него свой хоботок.

Готовая теперь идти в мир, и плодиться, и размножаться, и наполнить землю, и покорить её себе.

Ящеролов Рекс

Тема, которую я хочу затронуть в моей сегодняшней речи, – Биовульф.

Славен был Биовульф – единственный в своём роде, могучий избавитель улиц от ящеров-вредителей. Закройте глаза и попытайтесь представить его: стерегущий добычу, подобный смерти, исполненный доблести – вот он ведёт свой вирусный ночмобиль по скользким от дождя закоулкам, и несущий разрушение чёрный котелок крепко сидит на его голове. Вот он, выполняет задание столичной панели уличных работ по административно-муниципальному району В.

Ибо город претерпевал нашествие великого множества динозавров: тысячелетние рептилии наводнили улицы подобно драконам, сорвавшимся с этакого нечестиво-горластого рыцарского герба. Сонно переставляли лапы разгневанные чудовища, вырванные из уютного доисторического забытья, и сонмы их подымались – омерзительные, древние – на поверхность из канализационных туннелей.

Брянчащие, губящие, алчно-разящие.

И вот теперь: сигнал в третьем глазу Биовульфа, идут инструкции средней доле мозга. На клумбах данных раскрылись лепестки инфогераней, расцвели глубинные нейросхемы: линки блинкуют, пиксели осыпают пыльцу, стратегические диаграммы тянут кверху стебли.

Сообщают ему всё, что нужно.

Он повернул в южном направлении – едет вдоль Задней улицы, и закосевший от смерти ночмобиль вшмыгивает меж колёс кокаиново-белые разделительные линии; устремляется к канализационно-перерабатывающему предприятию, административно-муниципальный район В.

Строение это имело в центре своём тысячелетний разлом времени. Проход этот (восемь метров в ширину и шестьдесят три миллиона лет в длину) направлял туннелепотоки вонючеградских ниагар в рептилиевую доисторию. Выплеснуть нечистоты в давным-давно позабытое прошлое, такова была идея – и хорошая идея! Но затем она всем аукнулась.

Сильно аукнулась, принеся обратно поток зубастых монстров мелового периода – чудищ, кровавым зовом мщения восставших из древности.

Итак, подъезжая к окраинам города, ночмобиль Биовульфа присел враскорячку перед канализационно-перерабатывающим предприятием, готическим наваждением утёсов в тёплой дымке дерьма, унитазами громоханием испражнений матерящихся материков.

Биовульф вжал в пол жёсткую, как подмётка, педаль газа.

Вперёд, за ворота, в створожившийся мрак. Вперёд, в своём удалом ночмобиле, где кабина – один гигантский вирус гриппа, в десять миллиардов раз увеличенный в лаборатории. Внутри него устроился наш герой, точно комплемент ДНК в потоке оздоровительной плазмы, точно боб в нуклеопротеиновом стручке – кристаллообразном, многоугольном, неуязвимом. Он Биовульф и доспех, и арсенал, и упоение в бою: скорее расстался бы наш герой со своей кожей, чем вышел бы из ночмобиля. (А если вспомнить обо всех его шрамах и кишачих червями ранах, о входах для кабелей, о кишечных отсосах и мозговых стоках в пятнах агонии, то в смысле кожи Биовульф особенно и нечем было похвастаться – человек по духу, но по виду менее человек, чем освежёванный зародыш паукрысы, героически бултыхающийся в лимонно-жёлтых выделениях собственных желёз и смутно улыбающийся своей убийственной улыбкой.)

Вот человек, влюблённый в своё дело – он был рад перебороть свой страх, рассекая мрак. Он ехал по зданию, всё вперёд, устремляясь к святой святых. Характерные проблески времени отражались в уголках глаз – утешка из пролома, который всё ближе... Тени прошлого проносились в величественной тьме.

Долго ли, коротко ли, но вот подметил он следы растительности вокруг: вздымающиеся купы мезозойских семенных папоротников, саговники, величественные гинкго, отягощённые фосфоресцирующими плодами; праздничное сияние цветов освещало путь Биовульфа, а устланный мхом коридор неуклонно змеился вниз, в облианной джунглиевой девственно-лесности.

И в подлеске бродили и рыкали динозавры.

Не чешуйчатые топотуны из фантазий палеонтологов – эти чудища имели вид достойный: филигранные стегозавры с финифтяными рогами, пастельные аллозавры со шкурами варёного шёлка, яркокожие самоцветные бронтозавры. Он увидел птеродактилей в кожаном оперении и грациозных диплодоков в леви-страусовой эмали. Он увидел брахиозавров в сапфирах, бронзе, дымчатым кварце – неспешно двигались они, как сны в летнюю ночь сквозь райские кущи.

Биовульф убил их всех. Вжикнул-вжакнул из вжикомёта, пустил клочки самоцветных мозгов по закоулочкам и поехал себе дальше.

Всё дальше и дальше... мимо хронометрических аберраций, мимо склеившихся воедино, околутившихся узлов времени, от которых обезумел бы герой менее доблестный (и даже наш Биовульф начал задавать себе вопрос – а что, если и он тоже всего лишь пережиток, неуклюжий гибрид прошлого и настоящего?)

Но решительно отбросил он эти мысли. И устремился дальше.

Повернув за угол, застал он трогательную картину: парочка серебристых игуанодонов над драгоценным ониковым гнездом яиц Фаберже. Момент рождения невыразимой нежности, так что возрадовалось бы само сердце...

Но Биовульф, не отягчённый сердцем и прочей анатомией, поразил и чудище, и его чудиху, не пожалел и яиц (взрывались скорлупки тончайшего фарфора и открывали глазу птенчиков, подобных в своей невинности разбитым серебряным образам).

И вперёд устремился он, всё глубже в систему канализации, исполненную гниения и оглашаемую динозаврами воплями. Время начало скользить, и оскальзываться и расщепляться – всё ближе разлом. В искривлённом, опутанном лианами беспределье рвались и метались тени времени.

Всё вперёд ехал Биовульф сквозь опьянённые девственные леса, и они расширялись, раздавались страстно и одурманенно; агатовые цветы мурлыкали надушенными горлышками в сени хрустальных елей, а ели отбрасывали радуги на стрекоз из цветного стекла, а стрекозы пели песни над подёрнутыми рябью ручьями, из которых пили стада изукрашенных самоцветами трицератопсов.

Один залп из дергунчика – и Биовульф их всех порешил.

И приблизился к святой святых здания...

Где гудел-зудел пролом во времени. Вихрящаяся воронка, как бы сложноцветный коктейль, где в отсветах рентгеновских лучей проявился скелет Биовульфа. Плоть, точно стекло, и отсвечивающие зелёную кости ноги нажали на педаль газа.

И вперёд устремился он, в этот водоворот вечности, закручивая руль влево, в отлетевшее вчера. В прошедшие дни, затем в былые года, всё быстрее и быстрее сквозь отгнившие десятилетия, вдаль через века, сквозь синеватое мелькание тысячелетий, всё быстрее и быстрее...

И наконец неутомимые шины ночмобиля швыркнули, шаркнули, обрели почву на земле прошлого – и устрашающий Биовульф вырвался из заднего прохода времени.

Он стоял в палатах из дышащей, живущей зелени.

Растительный Версаль в ярких переплетениях листа и ветви, покрытые живыми фресками потолки, где в просветах – хрупкие вьющиеся бордюры; беседкообразные залы, заце-

лованные музами, чьи крыши покоились на развилках деревьев; залы, увешанные древесными грибами-канделябрами, биющими светозарной синевой.

И председатель в нём император, не имеющий равных: славный в битвах король-солнце, ненавистник млекопитающих, одинокий странник.

Ужасный, как волкобой, Тираннозавр.

Ящеробог весь из драгоценного слитка, чья кожа простиралась акрами золотой парчи. А глаза: небесно-голубые с прожилками зелени, умные и поблескивающие – фасеточные глаза насекомого владыки ацтеков, поражённого Луною; и зрачки уставлены, кроваво-налитые, на незваного гостя.

И вот! – сдвоенный рёв глотки и мотора – Биовульф и Тираннозавр устремляются друг на друга! – оружие человека выпаливает свою кровопролитную ярость, плюётся смертопламенем – вот чудовище подлетает, желая ускорить жаркую схватку, берёт Биовульфа в ножевую осаду зубов и когтей! – ящеролов резко отклоняется, дабы достойно ответить ящеру; точно великим множеством комет, решит его снарядами, и на каждом проставлены слова: "тип воздействия: полное уничтожение".

Вокруг них рванулся вверх вторичный лес, окрашенный в цвета осени: текут огненные цветы, вздымаются пламенные деревья и крохотные, точно шампиньоны, атомные грибы взрывов выскакивают из подлеска; раскалённый, точно солнце, взрыв ракет – это шесть ящеронаводящихся сверхновых нашли цель...

Взринулось пламя, взвинтилось к небу лентами дыма, и наконец, раздавшись, открыло глазу...

Тираннозавра, беспечного, – золотая его шкура без единого изъяна.

С наглой улыбкой чудовище вновь ринулось в бой. Вихрем устремилось оно вперёд, и золотые когти его несли Биовульфу великое множество бед. Попал воитель наш в суровый переплёт; никогда ещё ему не встречалось такого врага. Высоко вздымалась его грудь, тяжело дышал Биовульф, ибо боялся, что скоро умалится его сила.

И всё же поединок продолжался, увлекая противников то туда, то сюда, далеко в глубокие заросли зеркал в цвету – сводчатые зеркальные палаты наполнились запахами битвы, отражали в бесконечности эпическое единоборство: тысяча тысяч Тираннозавров бились с тысячью тысяч хмурых и окровавленных Биовульфов.

В тысяче тысяч ночмобилей.

Бравый ночмобиль, упоённое битвой судно, отважное средство передвижения. Хитроумный лис о четырёх колесах, его биокомпьютерные потроха бултыхаются в секретных протеиновых содинениях и древних вирусных заклинаниях. И вот сейчас, пока Биовульф бился, рвался и отбивался (с треском выпаливая очереди разрывных пуль, бросая машину влево, вправо, отступая, наседая), он вдруг ощутил... изменения в облекавшем его ночмобиле. Странное брожение машинных соков.

Что это было? – спросил он себя (а его верные орудийные гнёзда рокотали и грохотали, и чудовище мастерски свистало по воздуху клыками) – не усталость ли? А может быть, просто его отчаянное положение вызвало к жизни странные ощущения вокруг него и в нём самом?

Потустороннее чувство, яростное и вирусное. Назревающее наслаждение-боль сотрясло его от корней до макушки, внезапное, чужеродное возбуждение (Тираннозавр грохочет, наотмашь рубит ночмобилю левое крыло, растекается лимфа, Биовульф отвечает залпами из верных своих орудийных систем) нарастало и нарастало, корёжилось в сладостном спазме, и плазма ночмобиля сотрясалась в спотыкающихся приливах нуклеотидов, и тайны деления клеток стонали где-то под ногами, и всё вокруг рывками расходилось в головокружительной, липкой воронке блаженства...

И вирус (тут плазмашинный механизм зачмокал) начал делиться.

Снова, и снова...

И снова...

И бесконечно энное число раз...

Тираннозавр взвыл воем, ископаемым синонимом дикого ужаса. Ибо перед глазами его возникло великое столпотворение. Лес исполнился тысяч – нет, тысячей тысяч – вирусят. Тысяча тысяч ночмобилей и (чудо, дивное глазу) в каждом сидел новенький, с иголки, Биовульф. Ухмыляясь, точно маска смерти, легион Биовульфов рождал громогласный хор орудийных стволов, боевую песнь упоённой кровью артиллерии.

И наконец сразили Тираннозавра, изнемогшего в битве, и раны, точно штампы качества, покрыли золочёную шкуру его. И пал он, повалился на землю в неистовой боли, и отбыл, жалкий, обессчастливленный, в царство смерти.

Слава ящероловам!

Так пели они, восхваляя себя, когда ехали прочь, и ужасные орды орудий им торжествующе вторили – несли вечную смерть меловому периоду.

Вместе с которым вымер весь род *Dinosaurus*.

А потом они повернули домой, довольные своей работой. Обратно в разлом, сквозь доплеровские дырки, несомые девятым валом времени. Вперед, через канализационный завод, оттуда на свежий воздух и в северном направлении вдоль по Задней улице. И дальше, по улочкам и закоулкам, по многоэтажным медового цвета каньонам административно-муниципального района В.

Великая тьма Биовульфов, кровавым мщением восставшим из древности... Тысяча тысяч Биовульфов, стерегущих добычу, подобных смерти, исполненных доблести, смыкающих кольцо – нашествие зловонных зародышей паукрысы, заполонивших подобно вирусам наши улицы.

И вот сейчас, когда они выдвигают свои требования нам в лицо, я спрашиваю вас: кто же передавит этих ящероловов – теперь, когда они сделали своё мокрое дело?

Повесть об опыте, проделанном фра Салимбене, итальянским францисканцем XIII века, переложенная с латыни на английское наречие Адамом Брауном

Грехи императора Фридерикуса, короля Сицилии, Кипра и Иерусалима, столь огромны числом и неохватны мерой, что в моем утомлении я могу перечислить лишь малую их часть.

Однажды, ради праздной забавы, он повелел утопить старика винодела в бочке его собственного вина, ибо посчитал, что вино было слишком молодое, на что я отвечаю: проклят будь мой Император за дурную остроуту, как и за само убийство.

Однажды, захватив в битве некоторых своих врагов, он повелел полковому цирюльнику перерезать им жилы, так что конечности их стали податливы и беспомощны, и приказал продернуть заживо сквозь их руки и ноги и все тело бечевы, наподобие кукол, называемых марионетками. И велико было глумление приближенных его при виде этих несчастных, кои болтались над сценой, словно паяцы, стеная и взывая к Богу, а члены их, повинувшись бечевам, совершали непристойные и омерзительные действия как с самими собой, так и с предметами, которые мой развеселый Император с приятелями своими кидал на сцену.

Однажды в обеденное время мой Император угощал за столом неких двоих людей, одного из которых затем отправил почивать, а другого охотиться, и в тот же вечер повелел выпотрошить обоих в своем присутствии, чтобы узнать, кто же из них переварил обед лучше.

Касательно меня самого скажу только, что ни единой ночи я не проспал мирно и ни единого обеда не переварил спокойно под его покровительством. Не единожды Рим клеймил его как Антихриста, да и сам я немало раз называл его так в моей келье в ночное время – хотя, несмотря на все изуверство свое, должен признать, что был он вовсе не изувер, но пригожий и галантный кавалер, остроумец, говорил на семи иноземных наречиях и знал грамоте на девяти, за что его и прозвали *stupor mundi*, «чудо света». Покровитель Наук и Искусств, порой грехи его принимали склад философский, и их путем дерзал он познать Творение Господне, тем самым впадая в еще большее окаянство.

И вот, задумал он Опыт. Желал ли он тем самым доказать всю глубину греха своего или все величие своего спасения, о том ведомо лишь Вседержителю.

Мысль эта, должно, посетила его во время ночной попойки, ибо вошел он ко мне поздно ночью, когда я стоял на заутрене, и омрачил молитвы мои своим винным дыханием и воспаленным взором и следующим приказом:

Во-первых, повелел он мне собрать некоторое число младенцев, беспомощных найденнейшей, из которых немало осиротело через его собственную бранную удаль или прелюбодеяние.

Во-вторых, приказал запереть их в доме с садом, обнесенном высоким забором – хоть бы в этом я не испытываю стыда, ибо удел детей изменился к лучшему, и были у них теплые постели, мясо и питье.

В-третьих, приказал он мне привести мамок и нянек, чтобы кормили и умывали младенцев и ходили за ними – но чтобы никогда они не говорили с детьми. И, глаголет Император, в этом и есть самое главное, ибо ставит он целью явить Божественный Язык, которым Господь Бог обращался к Адаму и Еве, и который, по убеждению Императора, должен открыться тем, кто не подвержен влиянию человеческих наречий.

И вот, к славе ли моей или к позору, но сделал я все, как повелел он: и собрали детей; и мамки с няньками кормили и умывали их; и прошли месяцы; и один из детей слег и скончался от оспы; и еще один выпал из колыбели и сломал ногу и оттого исчах; и их предали

земле в безымянных могилах, и я произнес над ними слова, которых они никогда не слыхали при жизни; и так прошел год.

И во второй год одна из нянек занемогла кровотечением и оттого умерла, и я был должен заменить ее другой прислужницей, неумелой и недостойной, и очень скоро эта новая прислужница не смогла удержаться и принялась потихоньку увещевать свою подопечную; и когда Император узнал об этом, он приказал убить няньку и прогнать дитя прочь.

И еще год прошел; и двое из детей выросли кривые телом и умерли, что навело меня на размышления о том, что язык может быть подобен жизненным эссенциям, содержащимся в пище, без которых, если не давать их в требуемом количестве, кости скрючиваются и тело сохнет. Позднее, однако, я подумал, что если язык и вправду подобен пище, то пище отравленной, и должно проявлять умеренность в его потреблении, ибо часто те, кто более других преисполнен слов, кривы душой, хотя эта кривизна может быть и не заметна глазу.

И третий год наконец прошел; и один младенец возглагодал. Нимало не удивился я тому, что дитя было женского пола. И вскорости еще один ребенок заговорил, мальчик, и еще один, также девочка. И я приказал устроить в саду ширму наподобие тех заград, что ставят птицеловы, дожидаясь добычи; и я сидел за этой ширмой незамеченный и так немало провел времени, вслушиваясь в их наречие, пока не стал понимать, что в нем есть смысл и что оно не есть простое бормотанье дурачков; но я не мог разобрать ни слова, ни узнать язык, на котором говорили они. Он был необычен для уха: странный, запинаящийся, приятный на слух и мелодичный, как речь жителей Катая – но это не мог быть их язык, ведь если воистину они говорили на райском наречии, то оно должно быть родственно области близ реки Евфрат, а не Дальнего Востока, где лежит Катай.

И я сообщил обо всем этом моему Императору, но его поглощали умыслы против Людвига Сурового, правителя Баварии, и повелел оставить его в покое; и тогда обратился я к моему аббату, и братьям моим францисканцам, и умолил их придти в дом, где жили дети. Охотно пришли они, и сели, и слушали они эту речь; и все согласились со мной в том, что это язык, а не бессмысленное тараторенье; но о происхождении языка они не могли договориться. Те, кто понимал Иврит, соглашались, что это наречие Греков, и те, кто разумел Греческую речь, объявляли слышанное Ивритом, а те из нас, кто знал оба языка, клялись, что дети говорят по-арамейски. И так, поднялся между ними спор; и немало поносных слов прозвучало; и предположу, что на следующий день некоторые из братьев должны были на исповеди покаяться в грехе гнева; но загадка не была разрешена.

По прошествии недели Император, свободный от трудов, пришел подивиться на чудо, и также сел, неслышимый за ширмой, и слушал: и через некоторое время встал и объявил, что даже он, столь искушенный в языках, не может разгадать их речь.

И так продолжил он Опыт, и трое детей возрастали, и язык их с ними; и другие дети также росли, хотя и не могли сравниться с ними в крепости телесной, и никогда не говорили они на том наречии, ни на каком ином, хотя один из них умел кудахтать, подражая курам в саду, с таким искусством, что няньки пошучивали, уж не снесет ли он вскорости яйцо; за что я их бранил, но в глубине души был позабавлен.

И слухи о том росли, и превзошли границы мира Христианского, и достигли даже до Аравии; и однажды явился ко двору Фридерика некий Левантиец, и мой Император, кто в то время надеялся заключить союз с одним Персидским правителем, готов был исполнить любую прихоть этого книжника; но Левантиец желал единственно видеть детей сих.

И случилось так, что он пришел в сад, и засим мы предались дискуссии, из которой я составил самое благоприятное впечатление об этом любезном и ученом муже, так что под конец я обратился к Небу, чтобы Господь в своем милосердии помог ему обратиться и избавил от гибели душу его, на каковую гибель он, будучи еретиком, был безусловно обречен. И когда я пригласил его пройти за ширму, кротко он последовал, и слушал детей самое

короткое время, после чего удалился, и был смуглый лик его бледен; и я спросил его, понял ли он их речи, и он отвечал, что да.

Я поднял руки к небу, восклицая, что воистину Арабский есть язык Бога; но он призвал меня к молчанию. Ибо, хотя он и понял их речь, то не был язык Арабов, и ни какой другой язык в землях Человеческих.

И, устремив на меня свой взор, он открыл мне великое чудо: ибо, сказал он, дети глаголали не словами, но цифирью и формулами науки, именуемой *аль-джабр*, или *алгебра*, измышленной астрологом, математиком и географом Персидским Мухаммедом ибн-Муса аль-Хорезми.

По его повадке и по моим собственным наблюдениям за этим языком понял я, что он говорил искренне, и потерял речь от изумления; но позднее, по размышлении, подумал, что не следовало мне столь удивляться, ибо разве не утверждали Платон и Фалес Милетский уже в древности, что математика есть язык Бога?

Так прошла неделя в наблюдениях и плодотворных дискуссиях между Левантийцем и мною, пока однажды вечером Фридерик не прислал к нему воинов с повелением немедленно удалиться в страну свою под угрозой потери зрения или самой жизни, что тот и сделал с большой поспешностью, ибо Фридерик, не добившись успеха в вышеупомянутом союзе, был в гневе на все Персидское.

И вскоре посетил Император нас, подобно тому, как гроза посещает лес, и был он мрачен; и на раскаты грома его вопросов я давал такие ответы, на какие был способен, но он встретил вести о чуде дождем упреков и градом злословия; ибо какая польза от математики? Ею нельзя управлять людьми подобно тому, как он управлял ими с помощью языка; ни есть, ни пить ее также нельзя, и овладение ею нельзя сравнить с овладением телами распутных женщин. И он высказал свое желание прекратить Опыт, но, будучи поглощен своими поражениями в ходе некоей малой войны, он объявил, что отложит свое решение до того времени, пока не найдется иное применение дому и саду, и так гроза прошла и развеялась, и вновь настала ясная погода, и я смог продолжить мои наблюдения в одиночестве.

И премного я умилялся, слушая разговоры детей на Божественном том Языке; они танцевали и пели на нем, ибо разве не есть музыка прекрасное подобие счисления? И еще более узнал я Язык и полюбил детей за их шутки и игру словами, и радостно погружался в лабиринты решений их незамысловатых стишков. И дети чертили на земле сада фигуры и узоры, преисполненные таких тайных смыслов, что произрастающие в той же земле овощи не могли сравниться с ними в полноте жизни.

И так прошел месяц или немного менее. Затем, исполнив некое важное дело за границей, холодным днем святого Стефана я возвратился в дом с садом после недельного отсутствия, после чего одна из нянек пришла ко мне в великом страхе и сказала, что эти дети не ели и не справляли большую и малую нужду уже много дней.

И с нерешительностью говорю я то, что должен сказать, потому как боюсь, что вы усомнитесь в моем прямодушии; но говорю вам как перед самим Богом, что я наблюдал за детьми в тот день, и в следующий, и еще целый день, и воистину они не вкушали ни еды, ни питья. Они не взирали на пищу, приносимую к ним, несмотря на то, что та была приятна на вкус, и вместо этого пели: чистейшую песнь посвящения, гармонию утонченнейших чисел; и хотя пища та не претерпевала видимых изменений, она, тем не менее, преображалась; и хотя дети не прикасались к пище, они, тем не менее, производили движения, как будто едят, медленные и неуверенные, словно бы во сне; и, хотя они и оставляли пищу нетронутой, но, когда выходили из-за стола, то имели вид всяческого насыщения. И позднее, когда прислужницы унесли блюда и я исследовал хлеб, и сыр, и прочие яства и отведал всего понемногу, я обнаружил, что хотя хлеб имел вкус хлеба, а сыр – сыра, они потеряли весь аромат свой.

Уже это не была пища, но нечто меньшее, ибо пение детей извлекло из нее некую текучую эссенцию, некий жизненный принцип, для пропитания своих тел.

И воистину, во все последующее время, а было его около шести месяцев, хотя эти дети более не вкушали ни еды, ни питья, они крепи здоровьем, не толстели, и росли высокими и тонкокостными, с лучистыми глазами до того пронзительными, что даже я, сидючи спрятавшись за ширмой, часто ощущал воспламеняющее прикосновение их взора, освещающее грехи в глубинах сердца моего.

И вот настала ночь сего дня, менее чем за четыре часа до того, как пишу я строки сии, когда Император, обуреваемый скукой и недовольный исходом войны, возжелал дом с садом для одной из наложниц своих. Он пришел ко мне в часовню, когда я творил вечерню, и, не устыдившись своего присутствия в доме Господнем, объявил мне, что намерен умертвить детей как неугодных себе.

И я встал пред ним и сказал, что он не должен творить дела сего.

После этих слов моих настала тишина; затем он сказал, что я не должен говорить ему *не должен*, и в голосе его была усмешка, и я устрасился.

И все же я стоял пред ним как стоял, и сказал: пред лицом Бога он не должен творить дела сего.

И он сказал, что отправит меня пред лице Бога без промедления, если я буду настаивать на моем непокорстве.

И все же я упорствовал; и он направил свои стопы ко мне по каменным плитам, и сказал мне в лицо, так что я ощущал его слюну на щеках моих, что дети будут умертвлены и что он намерен свершить казнь своею собственной рукой.

При этом я содрогнулся, ибо знал, что он превратил убийство в развлечение для собственного удовольствия и что дети умрут самым омерзительным образом.

И да простит меня Бог, но я дал ему понять, что немедленно пойду к детям и отравлю их, ибо он не знал, что они не едят, от каковых слов мой Император рассмеялся с радостью при мысли, что я погублю мою душу подобным деянием; и вот он приказал мне сотворить дело сие; и я поспешил в дом, где благословил мамок и нянек, простых и достойных женщин; и дал я им некоторое количество золота, и, рыдая, удалились они, взяв с собою оставшихся двоих немых детей. А я отправился к троем говорящим детям, моим детям, намереваясь открыть двери, чтобы они могли бежать и укрыться в миру.

Я приблизился к ширме; но ширмы на месте не было; дети стояли на том месте, где прежде стояла она, и смотрели на меня искренне; и старшая девочка наградила меня улыбкой, и по улыбке этой я понял, что она знает, какую судьбу уготовал им Фридерик, и не печалится ею.

И затем она отвернулась, и все трое встали лицом друг к другу, образуя треугольник, и запели они число; и было оно подобно светильнику, испускающему свет несветимый, или подобно трубе, издающей зов беззвучный; и подобно озарению после жизни, проведенной в безумии, открылась впереди тропа, прежде невидимая глазу. Дети помахали мне в знак прощания, и повернулись, и вприпрыжку побежали в направлении, которому нет имени; все вдаль и вдаль и прочь с глаз; а улыбки их остались со мной даже после того, как дети пропали из виду.

И вот, я сижу один в доме, с листом пергамента и пером, и повесть эта — но чу! — слышу я, как колотят в забранные засовами двери, и сквернословят, и знаю я, что Император здесь, и люди его с ним; и я знаю, что остались у меня считанные мгновения до того, как они войдут и предадут меня смерти. Увы! все, что я оставляю им на гибель и раздранье — это повесть сию, которую я, недостойный прислужник, со всем смирением и почтением оставляю для усладительного чтения своего Императора. А засим, пока разбивают двери, и облегчив душу повестью моею, лишь одно остается мне, а именно: произнести Священное

число, переданное моей дочерью в сердце мое, и заново откроется путь, чтобы я поднялся и пошел странствовать в те края, куда уже устремились брат с сестрой ее, странствовать присно и во веки веков.

Тем кончаю я свидетельство мое пред Богом, число Коего есть Один.

Космическая оперетта

На дворе десятый день месяца марта года 1453, и Кардинал Бессарион подобен полу-богу в своем моллюсочном ракушколете романского стиля, влекомом роторами из золота и серебряной филигрانی. Вот он блистает над Альпами, прежде чем спуститься на землю в Вене, где ему назначена аудиенция с Фридрихом III, Императором Священной Римской Империи, правителем Германии, Пруссии и Австрии.

Фридрих рад видеть Кардинала и принимает его с должным великолепием, окружая диковинками и плодами с хитрым механизмом, наученными испускать дымку милостивого благоволения; но Кардинал (и в лучшие-то времена невеликий весельчак) не склонен отвлекаться на пустое. Он прибыл по делу: просить у немцев военной поддержки против турок, занявших Константинополь месяцем ранее (неверный город, константа непостоянности, вечно переметывается то к вашим, то к нашим – так что, пожалуй, давно нуждается в перемене имени).

При таком повороте беседы Император снижает настрой своей гостеприимности на полтона, потому что относится к туркам с большим (скажем так) *почтением*. Вызвано оно преимущественно талантом турецкой стороны создавать вооружения *biologische* – вроде тех, о каких Фридрих наслышан от греков: воздушно-капельные злодеяния, парящие над Эгейским морем. Чума и злосчастье из турецкой пасти. Флегматичные болезненности; стул, зловонием и консистенцией подобный разложившейся падали; язвы, наделенные языками, чтобы шепотом вплетать святотатства в кисею человеческих снов.

Короче говоря, Турция – враг странный и жестокий, против которого, считает Император, не след связывать себя военными обязательствами. Но точно также не желает он заслужить нерасположение Кардинала и самого Рима, источника императорской власти.

Himmel! издает Император вздох из своей груди.

И приходит ему мысль: для решения этого требуется заручиться содействием звезд.

И вот он ссылается на утомление и молит Кардинала покинуть покой (Бессарион удаляется с видом нетерпения) – и призывает своего астролога Иоганна Мюллера фон Кенигсберга, известного как Региомонтан, почтенного старца и провидца, сморщенного, как вечно юные райские яблочки. Является он в королевский апартамент в собственном перамбуляторе, подобном миниатюрному галеону из меди и нефрита в зыбких переплетениях витых полировок и лакировок: судно, достойное того, чтобы бороздить волны точных наук, увлекаемое ураганами ученых умозаключений.

Астролог преклоняет слух к сетованиям Императора и с нижних палуб достает свои провидческие инструменты. Астрономический альманах из мягкого золоченого пергамента, армиллярную сферу замечательной красоты и точности, и редкого искусства астроблабу.

И старый книжник чертит звезды своего Императора на усыпанном золотыми созвездиями главном парусе.

Но гороскоп не благоприятен. Звезды противятся согласию Германии на просьбу Кардинала. И так говорит Региомонтан:

– Ярость и восточная тройственность Овна, Льва и Стрельца свидетельствуют, что кампания Германии против Оттоманов находится в аспекте к пагубам и злонамеренным планетам. Марс расположен дурно в шестом доме, так что властитель, направивший войско к востоку, повстречает на пути своем холерические фантазмы, несчастные начатия, бесчестие и смерть.

Теперь Фридриха и вовсе одолел смур, но Региомонтан молит его сдерживать вздохи:

– Это дурное течение можно и повернуть, – говорит он, и кораблик его возносит внезапной волной вдохновения. – Если будет угодно Вашему Величеству, у меня в моей ману-

фактории имеется устройство – великий Двигатель, недавно завершённый постройкой, и он мог бы нам весьма помочь в этом деле.

Император, известный своей любовью к механическим искусствам, выражает свою радость. Он посылает за Кардиналом с приглашением присоединиться к ним, затем требует подать (ибо он не прочь подзакусить) свой съедобный автомотор с шасси из пирожной корки и колесами из сыра, на топливе из крепчайшего горячего чая – и вскоре Фридрих уже возлегает на зефирных подушках меж Кардиналом и Региомontanом, а королевский фаршробот везет их сквозь славословия смятенной толпы в индустриальную зону в пригороде Вены. Где стоит дом астролога.

Подобный маске смерти грозовой тучи.

Архитектурно решенный как прослойка сверхлегких металлов поверх тропических громов; тончайшая пластинка слюды драпирует гордые башни и взбитые ветрами клубы печного дыма. Слоисто-кучевая конструкция из перемежений сполохов и туманной дымки обеспечивает конструкционную прочность... А внутри Император и Кардинал следуют за Астрологом, влекомые ввысь вальсом лабораторий, мастерских и хитрых кузниц с адовыми горнилами (ибо Региомontan не только астролог, но также выдающийся мастер *файерворков* и потешных огней). Вдоль залов в форме атмосферных завихрений идут они, и все вокруг них озаряет свет ламп цвета полночных молний.

Так приходят они к цеху на широкой крыше, нараспашку небу. А в нем обретаётся удивительный аппарат.

Отчасти похожий на мясистую виолончель в восемь этажей высотой, весь из стекла и легчайшей сети зеленого кварца. А с вершины его тянется ввысь гигантский трос, дрожа от натяжения, как шкура барабана, выше облаков, туда, в небеса.

– Трос этот, – говорит Региомontan, отчасти предаваясь греху гордыни, – прикреплен к Северной Звезде. – Звезда *Polaris*, или *Alpha Ursae Minoris*, располагается ближе всех к Северному Небесному Полюсу, что означает, что ось вращения Земли приходится ближе чем на 1, 20434 градуса от него до звезды. – На конце его гарпун моего собственного изобретения, – говорит Астролог, – запущенный из катапульты в твердь небесную. Нацеленный с замечательным хитроумием при посредничестве ракетного двигателя, летел он мимо комет и звезд, летел тысячу миль (это, государи мои, трос замечательной длины), пока наконец, по милости Божией, не достиг цели – и вцепился в нее крепко гарпунными крючками в том самом месте, где все звездные лучи сходятся в хрустальной тверди.

Фридрих изучает судно, линии его корпуса и его ножки-подпорки, задрапированные приличия ради тяжелой тканью.

– Теперь, – говорит он, – с помощью этого кабеля твой Двигатель может подняться в небо наподобие фуникулера... Региомontan сияет. Император хлопает в ладоши. – *Sehr schön!* Остроумная конструкция, сударь!

Бессарион разглядывает машину с властительным безразличием.

– Да, Ваше Величество, прелестное устройство. Но какой в нем прок?

– Государи, звезды против нас, – говорит Региомontan. – Так почему бы нам не подняться к звездам и не переменить их расположение в нашу пользу?

Двенадцатого дня марта 1453 года происходит запуск судна. Рывками тянет его вверх лебедка с дизельным двигателем. Вена под ногами стремительно уменьшается в размерах. Скоро и сама Земля исчезает за облаками, а корабль входит в верхний слой воздуха – затем проходит сквозь него выше, в лучисто-лазоревые лунные лагуны: громадина Луны подкапывает-подваливает поближе, и уже может команда разглядеть малейшие черточки ее лица.

Все три важные особы, Фридрих, Региомontan и Бессарион, стоят на наблюдательной палубе корабля. Региомontan управляет подзорной трубой и прочими астрономическими

приборами, погруженный в таблицы и карты. Фридрих прижался носом к стеклу, охлажденному луною.

– Мне виден огромный обод, по которому странствует Луна!

– Да, Император, – говорит Кардинал Бессарион, которому не терпится продемонстрировать свои познания в астрономии. – Божественные тела обращаются вокруг Земли на эпиклических обручах из идеальной материи, движимые по орбите своей любовью к Богу.

За стеклом иллюминатора Луна раскачивается и громыкает, и вся ее поверхность (теперь путешественники видят это ясно) кишит птицами: цаплями, и чайками, и величественными орлами в безрадостных гнездовищах. Гуси плещутся в Море Спокойствия и гогочут, подобно унылым флюгельгорнам. На корме взматывается ввысь стая ворон, бахвалясь и куражась. И тут воздух наполняется кружевом птичьего пения – это множество соловьев устремилось, подобно радостному ливню, мимо иллюминаторов.

Региомонтан рассуждает вслух:

– Возможно, что эти птицы, или их далекие предки, были подняты в эти высоты бурей. – У штирборта отдыхает на крыле альбатрос, презрение к кораблю в каждом мановении перьев. – Они превратили Луну в подобие высокого насеста, подальше от своих земных врагов... Возможно, это объясняет фосфорическую белизну поверхности светила – и в этом случае всё, что освещает наши ночи и вдохновляет наших менестрелей – это тысячетлетние залежи птичьего дерьма.

Фридрих заходится хохотом, в восторге от шутки; и так корабль продолжает путь, покидает подлунное царство и вздымается сквозь слои излучений и струй внутреннего света. Радуги рентгеновских лучей отбрасывают невидимые переливы цвета, пробирающие до мозга костей. Кометы, подобно гигантским конфетам, раскинули хвосты из ванильной сахарной ваты.

Когда наши путешественники минуют Венеру (грациозная розовая планетка, вся укрытая облаками из пастельной пастилы), они отмечают повышение окружающей температуры. Объясняет Региомонтан:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.